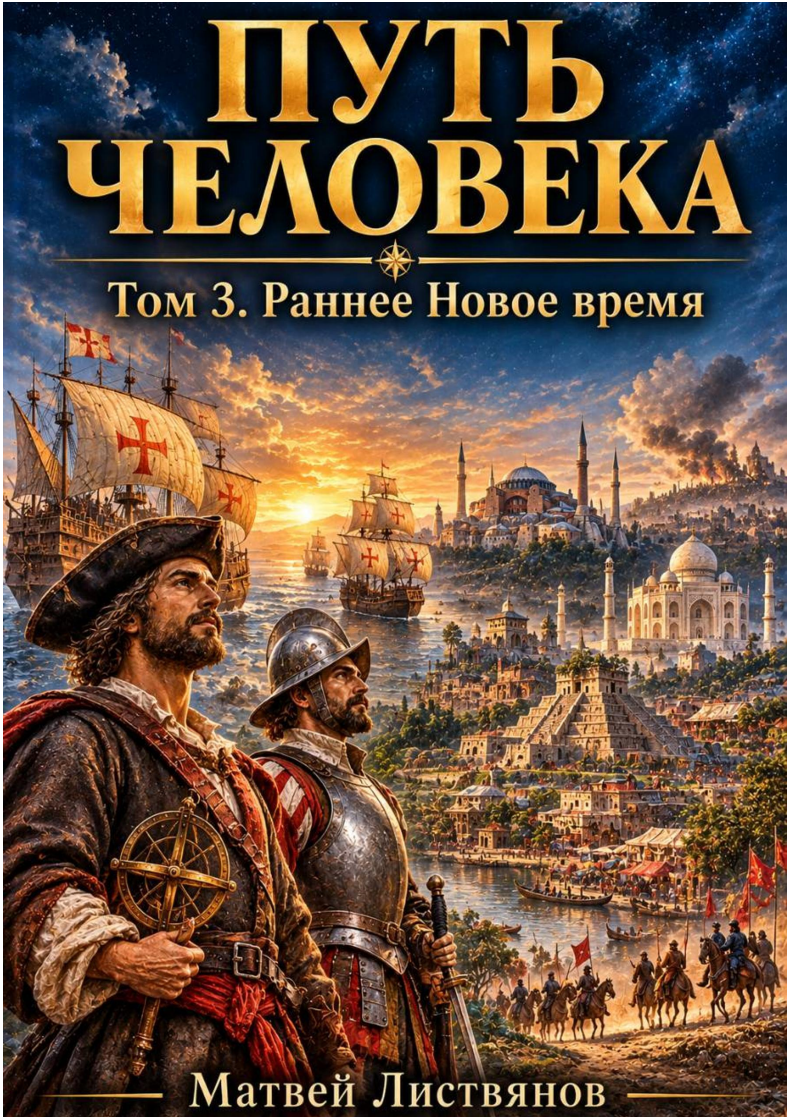
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Том 3. Раннее Новое время
Матвей Листвянов

Матвей Листвянов

Путь человека. Том 3. Раннее Новое время

https://litres.ru/75062032
SelfPub; 2026

Аннотация

Семнадцать глав без деления по цивилизациям — потому что в эту эпоху

миры уже сталкиваются друг с другом напрямую: матрос в команде Колумба,

конкистадор при осаде Теночтитлана, раб на сахарной плантации Карибов, пират

Карибского моря, повитуха, обвинённая в колдовстве, энциклопедист эпохи

Просвещения. Колонизация, работорговля и рождение современной науки идут

здесь рука об руку, и том звучит жёстче и контрастнее прежних: это эпоха

переломов, где старый мир и новый мир выясняют отношения на костях друг

друга. Третий том цикла «Путь человека».

Содержание

Содержание	5
Матрос в команде Колумба	6
Конкистадор при осаде Теночтитлана	19
Ацтекский воин, защищающий столицу	32
Янычар Османской империи	45
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Матвей Листвянов
Путь человека. Том 3. Раннее Новое время

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Том 3. Раннее Новое время

Матвей Листвянов

Содержание

Матрос в команде Колумба
Конкистадор при осаде Теночтитлана
Ацтекский воин, защищающий столицу
Янычар Османской империи
Архитектор Синан, строящий мечеть
Ремесленник на строительстве Тадж-Махала
Русский стрелец на службе царя
Крепостной крестьянин в России
Раб на сахарной плантации Карибского бассейна
Матрос невольничьего корабля
Пират Карибского моря
Участник штурма Бастилии
Французский энциклопедист эпохи Просвещения
Ронин эпохи Эдо
Военачальник Дагомеи, поставляющий пленников на атлантический рынок
Ирокезский дипломат Лиги Пяти Наций
Повитуха, обвинённая в колдовстве

Матрос в команде Колумба

Антон Санчес родился в 1467 году в Палос-де-ла-Фронтера — маленьком порту на юге Испании, там, где река Тинто впадает в Атлантику мутной, пахнущей илом водой. Отец его был рыбаком, как и дед, и прадед: семья жила в одноэтажном глинобитном доме у самой гавани, и первым звуком, который помнил Антон, был скрип уключин и крик чаек над разделочными столами, где чистили сардины и хека. Мать подрабатывала на засолке рыбы для дальних рейсов — просоленная рыба в бочках была главным товаром, который уходил на каракках в сторону Фландрии и Генуи.

Семья считалась небогатой, но не нищей: у них была своя лодка, пусть и утлая, и это ставило их на ступеньку выше безземельных подёнщиков, перебивавшихся портовой подёнщиной. В Палосе середины XV века статус определялся не землёй, а тем, что человек имел на воде — лодку, долю в снастях, место в команде. Отец Антона такую долю имел, и это означало, что сын с рождения был вписан в мир, где единственной защитой от голода было море.

Детство его было коротким в том смысле, в каком было коротким детство почти всех детей портовых кварталов. С пяти лет он уже выполнял мелкие поручения — относил наживку, сматывал лесы, вычерпывал воду из днища лодки, пока отец и старшие братья тянули сети. Рацион был скудным

и однообразным: хлеб из ячменя пополам с рожью, похлёбка с луком и чесноком, рыба — своя же, непроданная или бракованная, слишком мелкая для рынка. Мясо на столе бывало по праздникам, вино, разбавленное водой, — почти ежедневно, потому что вода в колодцах Палоса была солоноватой и ненадёжной. К семи годам Антон уже умел плавать — этому в рыбацких семьях учили раньше, чем грамоте, которой, впрочем, никто его и не учил: ни читать, ни писать он не умел всю жизнь, и это было нормой для его сословия.

Посвящение в морское ремесло шло постепенно, без торжественных обрядов, но по жёсткой иерархии. В десять-одиннадцать лет мальчика брали юнгой — пахе, как называли таких на андалузском побережье, — в короткие рейсы вдоль берега, до Уэльвы и Кадиса. Юнга делал всё, что считалось ниже достоинства взрослого матроса: драил палубу песком, перебирал балласт, будил вахтенных, читал по памяти «Отче наш» на рассветной и закатной вахте — этот обычай соблюдался на любом испанском судне вне зависимости от того, кто и насколько истово верил. К пятнадцати годам Антон перешёл в разряд грумете — подмастерья матроса, уже доверенного крепить паруса и стоять у штурвала в спокойную погоду. К двадцати с небольшим он стал полно-арпуденным марينеро, матросом, способным в одиночку виться со снастью на мачте в свежий ветер.

Палос был не просто рыбацким городком — он поставлял для Кастилии опытных моряков, знавших прибрежные воды

от Гибралтара до Азорских островов, а некоторые ходили и дальше, к берегам Гвинеи вслед за португальцами. К своим двадцати пяти годам Антон успел дважды сходить на Канарские острова с грузом вина и переселенцев и один раз — в опасный рейс вдоль марокканского берега, откуда вернулась едва половина команды после стычки с местными судами. Моряцкая жизнь была взрослой жизнью в полном смысле: будни состояли из вахт по четыре часа днём и ночью, скудной солонины и сухарей, кишевших долгоносиком к концу долгого перехода, и постоянного ожидания шторма, который в любой момент мог отправить корабль и всю команду на дно. Платили матросу немного — около тысячи мараведи в месяц, из которых значительная часть уходила на долги перед выходом в море, — но это было больше, чем мог заработать подёнщик на суше, и давало Антону право считаться самостоятельным человеком, а не чьим-то слугой.

Весной 1492 года в Палос пришёл королевский приказ: городу, провинившемуся перед короной каким-то давним долгом, предписывалось выставить два корабля с полным снаряжением и экипажем для экспедиции генуэзца, называвшего себя Кристобаль Колон. Горожане встретили это без энтузиазма — слишком дикой казалась затея плыть на запад в поисках пути в Индии, слишком свежа была память о моряках, не вернувшихся из куда менее безрассудных плаваний. Набрать добровольцев оказалось трудно, и дело решили местные — братья Мартин Алонсо и Висенте Яньес Пинсон,

уважаемые в Палосе судовладельцы и капитаны, которые сами вошли в экспедицию и личным весом убедили земляков присоединиться. Антон записался на «Пинту», которой командовал Мартин Алонсо Пинсон: жалованье обещали вперёд, да и отказать Пинсонам означало поставить крест на будущих рейсах из родного порта.

Снаряжение кораблей шло всё лето под недобрым взглядом всего города. Колон, человек без гроша за душой, но с королевской грамотой в руках, ходил по тавернам Палоса и соседней Могера, уговаривая опытных мореходов записаться в команду, и поначалу это ему почти не удавалось: слишком странно звучал его генуэзский выговор, слишком сомнительным казалось обещание найти западный путь в страну пряностей. Перелом наступил, когда в дело вступил сам Мартин Алонсо Пинсон — человек, которого в Палосе уважали больше, чем любого королевского чиновника. Пинсон не просто записался сам, но и вложил в экспедицию собственные деньги, а затем лично обошёл дома знакомых моряков, убеждая их, что дело верное и что отказ земляку будет стоить дороже, чем риск плавания. Для Антона, как и для доброй половины команды «Пинты», решающим было именно слово Пинсона, а не королевская грамота: Колона в порту почти не знали, а Пинсонов знали все.

Три августа 1492 года три корабля — «Санта-Мария», «Пинта» и «Ниньа» — вышли из устья Тинто в предрассветных сумерках, и вся команда перед отплытием исповедова-

лась и причастилась в церкви Святого Георгия — обряд, без которого ни один палосский моряк не решился бы выйти в дальнее плавание. Первая остановка была назначена на Канарских островах, и путь туда занял почти неделю: уже на второй день пути руль «Пинты» внезапно вышел из петель — матросы шептались, что дело здесь нечисто, что кто-то из владельцев судна, не желавших отпускать его в опасный рейс, нарочно повредил крепления перед самым отплытием. Почти три недели простояли у острова Гомера, пока корабельные плотники под руководством Висенте Яньеса Пинсона чинили руль и меняли на «Нинье» косые паруса на прямые — для долгого плавания через открытый океан они годились лучше. Антон провёл эти недели как все — в мелком ремонте такелажа, в пополнении бочек пресной водой и солониной из местных стад, в недолгих вылазках на берег, где с островитянами-гуанчами, незадолго до того покорёнными Кастилией, ещё велась настороженная, но уже мирная торговля.

Девятого сентября, оставив позади последний клочок знакомой земли, эскадра взяла курс строго на запад, в океан, где, как твердили старые моряки, корабли попадали в полосу безветрия и гибли от жажды, а некоторые уверяли, что там обрывается край света. Шли недели. Пресная вода протухала в бочках, сухари крошились в труху и кишели долгоносиком, солонина на жаре быстро покрывалась слизью, и есть её приходилось, стараясь не думать о запахе. Компас на «Нинье»,

как говорили штурманы, вдруг «своевольничал» — стрелка отклонялась от Полярной звезды на несколько градусов больше обычного, и хотя Колон, желая не пугать команду, объяснял это движением самой звезды, бывалые моряки понимали: впереди что-то новое, доселе неизвестное науке кораблевождения. К началу октября, после месяца без единого клочка земли, команда открыто роптала, требуя повернуть назад; на «Санта-Марии», по рассказам, дело едва не дошло до мятежа, и лишь обещание Колона дать ещё три дня сроку — а по некоторым свидетельствам, и прямая угроза расправы над зачинщиками — удержало людей от бунта. Несколько раз за эти недели вперёдсмотрящие кричали «Земля!», завидев вдали низкие облака или игру света на воде, и всякий раз ошибка вызывала у измученной команды новый приступ отчаяния пополам с яростью на обманувшего крикуна.

Седьмого октября «Нинья» неожиданно для прочих кораблей изменила курс к юго-западу, завидев стаю перелётных птиц, тянувшую в этом направлении, — штурманы рассудили, что птицы безошибочно знают, где искать сушу, и Колон согласился довериться им. Антон стоял обычные вахты, лазал по вантам, вглядывался в горизонт вместе со всеми — поначалу не потому, что верил в десять тысяч мараведи, обещанных королевской четой тому, кто первым увидит землю, а потому, что всматриваться в темноту было частью ремесла; но чем дольше тянулось плавание, тем сильнее эта сумма занимала мысли каждого матроса на баке.

В ночь на двенадцатое октября он стоял на баке в числе вперёдсмотрящих. Море несколько дней подряд несло обломки веток, стебли тростника, птиц, не похожих на океанских, — всё это вселяло то отчаянную надежду, то новое раздражение, потому что землю обещали уже не раз, и не раз обещание оказывалось ложным. Около двух часов пополуночи, при свете невысокой ущербной луны, Антон различил впереди по курсу светлую полосу — не блеск воды, а что-то неподвижное, похожее на низкий берег. Он закричал — тем самым криком, которого ждала вся команда недели напролёт: «Тьерра! Тьерра!» Выстрелила пушка «Пинты», подавая условленный сигнал остальным кораблям. Паруса убрали, эскадра легла в дрейф до рассвета, не рискуя подходить к незнакомому берегу в темноте.

Наградой за первое обнаружение земли испанская корона обещала пожизненную пенсию в десять тысяч мараведи в год. Утром, когда корабли подошли к острову — позже названному Сан-Сальвадор, — сам Колон заявил, что ещё накануне вечером видел на горизонте некий колеблющийся огонёк, а значит, первенство принадлежит ему. Пинсон и большая часть команды сочли это несправедливым, но спорить с адмиралом открыто никто не решился: власть Колона на борту была почти абсолютной. Антон так и не получил обещанной пенсии — ни тогда, ни позже, когда вернулся в Испанию. История эта быстро стала известна во всех портах Андалусии, хотя со временем, по прихоти молвы, передавав-

шей её из уст в уста, место самого Антона в пересказах занял другой матрос с «Пинты», чьё имя — Родриго де Триана — и закрепилось в памяти потомков как имя того самого впередсмотрящего: так бывает с историями, рассказанными слишком много раз слишком многими людьми, — подлинный участник события растворяется в легенде, которая начинает жить собственной, не вполне точной жизнью. Для самого Антона, впрочем, от этой путаницы ничего не менялось: моряки его круга годами пересказывали случившееся друг другу как пример того, что слава в таких делах достаётся не тому, кто первым всматривается в темноту, а тому, кто первым докладывает о ней королю.

Сама земля, которую они увидели на рассвете двенадцатого октября, оказалась небольшим низким островом с ослепительно белым песком и зарослями, непохожими ни на что знакомое морякам, — местные жители называли его Гуанахани. Колон сошёл на берег в парадном камзоле, с королевским знаменем, и торжественно объявил остров владением короны под именем Сан-Сальвадор, хотя ни единой души из подданных испанских монархов, кроме стоявших тут же матросов, рядом не было. Встреча с обитателями острова — безоружными, нагими или полунагими людьми, которых Колон тут же назвал «индиос», уверенный, что достиг окраины Индий, — прошла мирно и даже радушно с обеих сторон, хотя ни один человек на борту не понимал ни слова из их речи. Антон участвовал в недолгой высадке, в обмене медными бу-

бенцами и стеклянными бусами на мотки хлопковой пряжи, сушёную рыбу и плоды, которых никто на корабле прежде не пробовал; его поразило, что местные жители ходили без всякого железа — ни ножей, ни наконечников стрел, только дерево, камень и рыбья кость, — и что золотые украшения, которые у некоторых всё же были замечены на лице и в ушах, тут же стали для Колона главным предметом расспросов через знаки и жесты.

Дальнейшие месяцы экспедиция провела, обследуя острова Карибского моря — Кубу, которую Колон поначалу принял за материковый Китай, и Эспаньолу, где после недель плавания вдоль изрезанного берега завязались первые прочные отношения с касиком по имени Гуаканагари, снабжавшим чужеземцев едой и золотым песком в обмен на безделушки. Именно у берегов владений этого касика в ночь на Рождество 1492 года, когда усталая вахтенная команда задремала, а рулевой-юнга беспечно оставил штурвал без присмотра, «Санта-Мария» тихим ходом налетела на коралловый риф и получила пробоину. Спасти флагман не удалось: корпус медленно оседал в воду, и Антон вместе с другими матросами «Ниньи», подошедшей на помощь, участвовал в спешной переправе груза, пушек и снастей на берег, где по приказу Колона из обломков разбитого корабля принялись спешно строить укрепление. Так возник форт Навидад — первое европейское поселение в Новом Свете, — в котором оставили три с лишним десятка человек из экипажа флагма-

на, не поместившихся на двух уцелевших судах для обратного пути; эти люди вызвались остаться добровольно, прельщённые рассказами о золотых россыпях Эспаньолы, и Антон, прощаясь с некоторыми из них на берегу, не знал, что видит их в последний раз: когда испанцы вернутся на остров год спустя, форта уже не будет — его сожгут сами островитяне, не стерпев насилий и грабежа со стороны оставленного гарнизона.

Обратный путь начался в середине января 1493 года, и «Пинта» с «Ниньей» вскоре потеряли друг друга из виду в тумане — каждая шла теперь сама по себе, полагаясь только на счисление курса штурманом. Переход через Атлантику зимой оказался тяжелее, чем плавание туда: в начале февраля суда попали в жестокий шторм у Азорских островов, и Антон, как и вся команда «Ниньи», был уверен не раз за эти дни, что корабль вот-вот пойдёт ко дну, — волны захлёстывали палубу, паруса рвало в клочья, а крохотная каравелла раскачивалась так, что людей швыряло от борта к борту. В разгар шторма, по обычаю моряков тех лет, экипаж дал общий обет: если все уцелеют, каждый вытянет боб из шапки, и тот, на кого укажет чёрный боб, пешком, босиком и в одной рубахе отправится в паломничество к ближайшей святыне Пресвятой Девы. Жребий троекратно выпадал на самого Колона, и хотя Антон не был уверен, что адмирал и вправду исполнил обет по возвращении, сам он после этой ночи дал собственный, менее торжественный зарок — не наниматься

больше в плавания зимой, если будет такая возможность выбирать.

Буря утихла лишь у самых Азорских островов, где уцелевшая часть команды «Ниньа» ненадолго сошла на берег для благодарственного молебна — порт в то время принадлежал Португалии, с которой у Кастилии отношения оставались напряжёнными, и местный губернатор, заподозрив в испанцах браконьеров на португальских морских путях, на несколько дней задержал половину экипажа на берегу, прежде чем отпустить с миром. Новый шторм застиг «Нинью» уже у берегов самой Португалии, вынудив Колона зайти в устье Тежу и предстать перед королём Жуаном II — тем самым монархом, что некогда отказал генуэзцу в поддержке его замысла и теперь с плохо скрытой досадой выслушивал рассказ о найденных землях. Лишь после этой вынужденной остановки «Ниньа» обогнула мыс Сан-Висенти и в середине марта 1493 года вошла обратно в устье Тинто, туда же, откуда полгода с лишним назад вышла вся экспедиция; весь Палос, прослышав о возвращении, сбежался к пристани, и Антон, спускаясь по сходням на твёрдую землю впервые за семь месяцев, не узнавал собственных ног, отвыкших от неподвижной почвы под ступнями.

Антон женился поздно по меркам своего сословия — в двадцать девять лет, уже после возвращения, на дочери местного засольщика рыбы по имени Каталина. К этому времени у него было достаточно накопленного жалованья, чтобы ку-

пить долю в небольшом судне и не наниматься больше простым матросом к чужим капитанам. В браке родилось четверо детей, из которых выжили двое — сын, пошедший, как и положено, в матросы, и дочь, вышедшая замуж за корабельного плотника. Второй раз в большое плавание через океан Антон не пошёл: ходил в недолгие рейсы вдоль побережья и на Канары, зарабатывая на жизнь привычным ремеслом, а историю про крик «Тьерра!» рассказывал в портовых тавернах Палоса — сначала с горечью из-за несостоявшейся пенсии, а с годами, когда горечь притупилась, просто как главное событие своей жизни, слушать которое сходились даже те, кто знал её уже наизусть.

С тех пор Палос ещё не раз провожал экспедиции за океан — Колон вернётся туда трижды, и каждый раз из порта набирали новые команды, — но сам Антон в большое плавание больше не нанимался, хотя и не раз получал такие предложения: слишком свежа была память о цинге, грозившей на третий месяц без свежей пищи, и о товарищах, оставленных в Навидаде навсегда. Он предпочёл ремесло понадёжнее — рейсы вдоль побережья, где в случае беды берег всегда рядом, — и за следующие десятилетия сменил три собственных судёнышка, обучая ремеслу сперва племянников, а затем и собственного сына.

Умер он в 1529 году, в возрасте примерно шестидесяти двух лет — немалый срок для человека его ремесла, — от лихорадки, свирепствовавшей в Палосе в то жаркое лето. Хоро-

нили его на приходском кладбище при церкви Святого Георгия, той самой, у которой полвека назад молилась перед отплытием вся команда Колумбовой экспедиции. К тому времени слово «Индии», которое моряки его поколения всё ещё употребляли по старой памяти, уже вытеснялось в разговорах более точным словом — Новый Свет, — и Антон, доживший до этого превращения, так и не узнал, что увиденная им в ту октябрьскую ночь полоса земли была не окраиной Азии, а берегом целого материка, прежде неизвестного ни одной карте Европы.

Конкистадор при осаде Теночтитлана

Эрнандо де Варгас родился в 1495 году в Медельине, маленьком городке Эстремадуры — сухого, каменистого края на западе Кастилии, из которого в те десятилетия вышло больше искателей удачи за океаном, чем из любой другой области Испании. Отец его носил звание идальго — низшую ступень дворянства, дававшую право не платить некоторые подати и носить шпагу, но не дававшую ни земли, ни денег. Таких идальго в Эстремадуре были тысячи: гордых своим происхождением и нищих на деле, владевших родовым именем и обветшалым домом, но не имевших средств прокормить многочисленных сыновей. Эрнандо был третьим из четырёх братьев, а значит, по заведённому порядку наследования всё более или менее ценное имущество отца должно было достаться старшему, и младшим оставалось искать свой хлеб либо в церкви, либо в войске, либо за морем.

Детство его прошло в доме, где нужда соседствовала с спесью: мать следила, чтобы сыновья держались прямо и говорили учтиво, как подобает дворянину, хотя на обед нередко подавался лишь хлеб с луком и немного солёного сала. С семи лет Эрнандо помогал по хозяйству — для идальго считалось зазорным работать в поле самому, но присматривать за

немногочисленной скотиной и помогать объезжать лошадь, которую семья с трудом содержала ради сохранения видимости достатка, зазорным не было. Грамоте его обучил приходской священник — читать и писать по-кастильски, немного счёта и латинских молитв; большего образования семья дать не могла, но и этого хватало, чтобы Эрнандо считался человеком грамотным среди большинства солдат, с которыми ему предстояло провести жизнь.

Посвящение в военное ремесло началось рано и без всякой торжественности. В четырнадцать лет отец определил его оруженосцем к дальнему родственнику, отставному капитану, воевавшему в Италии; через два года Эрнандо уже знал, как держать строй с пикой, как обращаться с аркебузой и порохом, как ухаживать за лошадью в походе — искусство, которым в Эстремадуре владели многие небогатые дворяне, выросшие верхом ещё до того, как выучились твёрдо ходить. Но ни войны в Италии, ни службы при каком-нибудь гранде, которая открыла бы путь наверх, младшему сыну медельинского идальго не предвиделось: слишком много было таких, как он, слишком мало — должностей и жалованья. В 1514 году, когда Эрнандо исполнилось девятнадцать, он записался в экспедицию, отправлявшуюся в недавно открытые земли за океаном, на остров Эспаньола, — как делали тогда многие его земляки, не видевшие дома никакого будущего.

Переход через океан занял почти два месяца и запомнился Эрнандо не меньше, чем последующие годы завоеваний:

теснота переполненной каравеллы, скудная солонина и сухари, страх перед штормом и смутная, не оставлявшая его всю жизнь надежда на то, что за морем удастся добыть состояние, которого никогда не будет у младшего сына эстремадурского идальго. На Эспаньоле он провёл первый год простым солдатом гарнизона в Санто-Доминго, где к тому времени от некогда многочисленного коренного населения острова — таино — уцелела едва ли десятая часть: эпидемии оспы и кори, занесённые с первыми кораблями, выкашивали людей, не имевших к этим хворям никакой защиты, быстрее, чем любое оружие, и уцелевших таино испанские колонисты принуждали к труду на рудниках и плантациях сахарного тростника по системе репартимьенто, по которой вчерашний воин королевской армии в одночасье становился надсмотрщиком. Несколько лет на Эспаньоле, а затем на завоёванной Кубе прошли для Эрнандо в необъявленной войне малого масштаба: усмирение немногочисленных уцелевших к тому времени индейских общин, строительство укреплений, служба в гарнизоне. Взрослая жизнь солдата-переселенца складывалась из скудного казённого пайка — кукурузной лепёшки, вяленого мяса, иногда рыбы, — из долгов ростовщикам за снаряжение и лошадь, и из постоянных слухов о новых, ещё не покорённых землях, где, по рассказам, есть золото в количествах, которых не видела вся Кастилия. В 1518 году такие слухи оправдались всерьёз: с полуострова Юкатан стали приходить вести о больших каменных городах и о народе, име-

нуемом мешика, и губернатор Кубы Диего Веласкес начал снаряжать новую экспедицию под началом идальго по имени Эрнан Кортес. Эрнандо де Варгас, к тому времени двадцатитрёхлетний, не имевший за душой ничего, кроме коня, доспеха и шпаги, записался одним из первых.

Экспедиция Кортеса, вышедшая с Кубы в феврале 1519 года, насчитывала около пятисот солдат, шестнадцать лошадей и десяток пушек — силы смехотворно малые для завоевания страны с миллионами жителей, и сам Эрнандо, высаживаясь на побережье нынешней Веракрус, этого масштаба ещё не представлял. Первые же недели показали, что без союзников экспедиция обречена: прибрежные тотонаки, издавна обложенные данью в пользу мешикской столицы, охотно пристали к испанцам, видя в них способ избавиться от власти Теночтитлана. Куда важнее оказался союз с Тлашкалой — гордой горной республикой, десятилетиями воевавшей с мешика и не покорившейся им, несмотря на постоянные войны. После недели ожесточённых стычек, в которых тлашкальтеки испытали на себе силу испанских лошадей, стали и аркебуз, тлашкальские военачальники предпочли заключить союз, а не продолжать бесплодное сопротивление; именно десятки тысяч их воинов, а не пять сотен испанцев, составят основную силу будущего штурма мешикской столицы.

Путь от побережья в глубь страны через горный перевал между вулканами Попокатепетль и Истаксиуатль занял

несколько недель и запомнился Эрнандо голодом, холодом непривычной высокогорной ночи и постоянным напряжением — тлашкальские проводники предупреждали, что мешика могут напасть в любом ущелье. По пути отряд остановился в городе Чолула, союзном мешика, и там, заподозрив готовящуюся засаду — по собственному оправданию Кортеса, а по позднейшим упрёкам многих, без достаточных на то оснований, — испанцы вместе с тлашкальскими союзниками устроили резню безоружных жителей прямо во дворе главного храма, перебив, по разным подсчётам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Эрнандо участвовал в этой расправе наравне с прочими и много позже, рассказывая внукам о походе, обходил Чолулу почти полным молчанием — в отличие от штурма столицы, эта часть похода не казалась ему годной для гордости.

Восьмого ноября 1519 года испанский отряд с союзниками вступил в Теночтитлан по длинной дамбе через озеро Тескоко, и то, что увидел Эрнандо, не укладывалось ни в один рассказ о Новом Свете, слышанный им прежде: город на воде, выстроенный на искусственных островах, с каналами вместо улиц, с ухоженными плавучими садами-чинампами, рыночной площадью Тлателолько, по которой, по позднейшим прикидкам испанских хронистов, в базарный день проходило больше народа, чем во всей Севилье, и ступенчатыми храмами, возвышавшимися над всем этим подобно рукотворным горам; население города, по позднейшим при-

кидкам, превышало двести тысяч человек — больше, чем в любом городе тогдашней Испании. Правитель Моктесума II вышел навстречу чужеземцам на носилках в сопровождении знати, принял испанцев с почётом, разместил их в одном из дворцов своего покойного отца и щедро одаривал золотом и хлопковыми тканями, хотя причины такого приёма Эрнандо и его товарищи так до конца и не поняли ни тогда, ни впоследствии: то ли правитель принимал чужеземцев за посланцев какого-то древнего божества, то ли попросту рассчитывал обезвредить их почётом и щедростью прежде, чем те успеют натворить бед.

Мирное сосуществование продлилось недолго. Кортес, опасаясь предательства, взял Моктесуму фактическим заложником в его же столице; напряжение в городе нарастало месяцами, пока в мае 1520 года, в отсутствие Кортеса, отправившегося разбираться с карательной экспедицией, присланной с Кубы, испанский гарнизон во главе с оставленным за старшего Педро де Альварадо не устроил резню мешикской знати во время религиозного праздника в главном храме — опасаясь, как объясняли сами участники, подготовки мятежа. Город восстал поголовно. Вернувшемуся Кортесу удалось на время утихомирить ярость горожан, выведя на крышу дворца самого Моктесуму с уговорами к подданным сложить оружие, — но для мешика правитель, пошедший на такое, был уже предателем, и в его сторону, по одним сведениям, полетели камни, от которых он и получил смертель-

ную рану; по другим, менее лестным для испанцев сведениям, Моктесуму в последние дни плена убили сами испанцы, видя в нём обузу. Эрнандо, стоявший в оцеплении дворца в эти дни, слышал рёв толпы с каналов и крыш — множества людей, уверенных, что чужеземцам пришёл конец.

В ночь на первое июля 1520 года, позже названную испанцами Ночью печали, Кортес решился на отступление из обречённого города по западной дамбе. Переход обернулся бойней: мешикские воины атаковали с каноэ, с крыш и с воды, обрушивая колонну на узких разрывах дамбы, где снятые накануне мосты заставляли штурмовать каждый пролом заново; десятки испанцев, перегруженные награбленным золотом, тонули в каналах под собственной тяжестью, не в силах выплыть. Из полутора тысяч испанцев, находившихся в тот момент в городе, погибло, по позднейшим подсчётам, не менее двух третей; Эрнандо уцелел, бросив в воду мешок с золотым песком, который несколько месяцев берёг как главную свою добычу, — решение, которое впоследствии не раз спасало ему жизнь при пересказе этой ночи: оставшиеся налегке имели куда больше шансов выплыть и уйти, чем те, кто тонул вместе с сокровищем.

Уцелевший отряд отступил в Тлашкалу через перевал у подножия вулкана, где у селения Отумба путь ему преградило огромное мешикское войско, собранное наместниками покойного Моктесумы, чтобы покончить с беглецами раз и навсегда. Эрнандо, едва державшийся в седле после бессон-

ных ночей отступления, участвовал в последней отчаянной кавалерийской атаке, которую Кортес бросил прямо на военачальника противника, узнаваемого по богатому плюмажу над толпой, — падение одного военачальника и захват его знамени посреди боя, по странному обычаю мешикской войны, обратили в бегство всё немалое войско, хотя численное превосходство оставалось за ним многократным. Победа при Отумбе, как её назовут позже, спасла остатки экспедиции от полного истребления и позволила добраться до тлашкальских земель, где отряд получил убежище, пополнение и почти год передышки. За это время в городе и его окрестностях распространилась оспа, занесённая, по всей видимости, ещё первой карательной экспедицией с Кубы, — болезнь, не затронувшая самих испанцев, успевших переболеть ею или унаследовавших частичный иммунитет в детстве, но опустошившая ряды мешика, включая преемника Моктесумы, нового правителя Куитлауака, умершего от неё в считаные недели своего правления. К маю 1521 года Кортес, собрав около тысячи испанцев и десятки тысяч индейских союзников — тлашкальтеков, тескоканцев, отколовшихся от самого Теночтитлана, и других недовольных мешикским владычеством народов, — вернулся к озеру Тескоко для решающего штурма.

Осада, в которой Эрнандо участвовал с первого до последнего дня, длилась почти три месяца. Испанцы, ещё в Тлашкале построившие по частям и перенёсшие через горы

тринадцать небольших бригантин, спустили их на воду озера и перерезали подвоз продовольствия и пресной воды в город по каналам; союзные отряды день за днём штурмовали дамбы, отвоёвывая у защитников квартал за кварталом, засыпая разобранные мосты обломками разрушенных домов. Эрнандо участвовал в этих штурмах пешим, в составе отряда, прикрывавшего продвижение союзников арбалетным и аркебузным огнём, и не раз видел, как ожесточение боя оборачивалось для обеих сторон резнёй без пощады: пленных испанцев мешикские воины приносили в жертву на глазах у осаждающих, выставляя отрубленные головы лошадей на кольях вдоль стен, а испанцы с союзниками в ответ истребляли целые кварталы, не разбирая, кто перед ними — воин или мирный житель. Голод и жажда, а следом и продолжавшая косить город оспа сделали за последние недели осады едва ли не больше, чем оружие: защитники, доведённые до крайности, ели кору деревьев и солёную озёрную траву, но сопротивлялись с упорством, которое поразило даже закалённых испанских ветеранов.

Треть испанских союзников составляли сами тескоканцы — жители второго по значению города озёрного союза, переметнувшиеся на сторону Кортеса после внутренней распри за собственный престол, и без их гребцов, лодок и знания озёрных отмелей три десятка бригантин едва ли смогли бы так эффективно перерезать город от воды и припасов. Эрнандо на всю жизнь запомнил, как со временем даже самые

закалённые из испанских солдат начали избегать идти в первых рядах штурмующих колонн: мешикские воины, доведённые до отчаяния, дрались уже не ради победы, которую вряд ли кто-то из защитников всерьёз считал возможной, а ради того, чтобы не попасть в плен живыми, — и эта готовность не щадить ни себя, ни противника делала каждый отвоёванный квартал городом, купленным по счёту не меньше одного-двух убитых или раненых на десяток шагов улицы. Тринадцатого августа 1521 года последний мешикский правитель Куаутемок был схвачен при попытке бежать по озеру на каноэ, и сопротивление в городе прекратилось. Теночтитлан, ещё два года назад поразивший Эрнандо своим великолепием, к этому дню лежал в руинах, заваленный неубранными телами, — зрелище, которое, по собственным позднейшим словам Эрнандо, он не мог забыть до конца своих дней вернее, чем любую награду, добытую после. Именно эти недели штурма — когда горстка испанцев рядом с многотысячным союзным воинством карабкалась по разрушенным дамбам в город на воде, обороняемый до последней возможности, — он и называл потом главным событием своей жизни, не упоминая в рассказах ни страха, ни крови почти так же часто, как упоминал золото, доставшееся по разделу добычи победителям.

Раздел этой добычи, впрочем, обернулся для Эрнандо разочарованием: после вычета королевской пятины и доли самого Кортеса рядовым солдатам досталось куда меньше,

чем рассчитывали, и многие ветераны годами потом судились за недополученное жалованье. Эрнандо получил взамен денег энкомьенду — право на труд и дань нескольких окрестных индейских селений в долине, где позже вырастет Новая Испания, и этим правом кормился следующие три десятилетия, понемногу обзаводясь скотом, домом в отстроенном заново городе на месте Теночтитлана и положением среди первых завоевателей-конкистадоров, из которых к старости в живых оставались немногие. Женился он поздно, в тридцать семь лет, на Исабель де Рохас — дочери другого ветерана кортесовского похода, прибывшей в Новую Испанию уже после завоевания вместе с одной из первых партий испанских женщин, которых корона поощряла переселяться за океан, чтобы колонисты обзаводились законными семьями, а не только индейскими сожительницами. В отличие от многих своих товарищей по оружию, бравших в жёны или наложницы дочерей покорённой знати — а для иных конкистадоров такой брак становился способом закрепить права на землю и труд через родство с местными правителями, — Эрнандо выбрал невесту своего круга и своей крови, рассудив, что потомству надёжнее иметь бесспорное место среди новой колониальной знати, чем происхождение, которое при смене настроений короны могло обернуться поводом для упрёка. В браке родилось пятеро детей, из которых выжили трое, и один из сыновей унаследовал отцовскую энкомьенду, другой принял духовный сан и отправился пропо-

ведовать в недавно покорённые земли на севере, а дочь была выдана замуж за сына другого ветерана похода — брак, скрепивший между двумя семьями общую память об осаде и общий интерес в сохранении дарованных короной привилегий.

Старость Эрнандо встретил в достатке, но не в спокойствии. Новая Испания 1540-х и 1550-х годов, которую он помнил ещё дымящимся пепелищем на остатках свайных фундаментов, превратилась в оживлённую колонию с собственным университетом, открытой в 1539 году типографией — первой во всём Новом Свете — и собственной знатью из потомков конкистадоров, оттеснявших друг друга в борьбе за милости вице-короля; королевские чиновники, присланные из Мадрида десятилетия спустя после похода, всё настойчивее ограничивали права энкомендеро, ссылаясь на новые законы о защите индейцев, и старые заслуги первых завоевателей ценились при дворе вице-короля всё меньше рядом со свежими связями и свежими деньгами. Эрнандо не раз ездил через весь город с прошениями, перечисляя в них раны и годы службы, — обычная участь стареющего конкистадора, вынужденного доказывать чиновнику вдвое младше, что право на энкомьенду заслужено не просто по счастливой случайности, а кровью под Отумбой и на дамбах Теночтитлана. Здоровье его к шестидесяти годам было подорвано старыми ранами и десятилетиями верховой службы: ломило суставы, плохо гнулась рука, пробитая мешикским

копьём ещё во время осады, и последние годы он редко выходил из дома без трости.

Умер Эрнандо в 1558 году, в возрасте шестидесяти трёх лет, от долгой лихорадки, в собственном доме в Мехико, построенном, как и многие дома первых поколений колонистов, из камня разобранных мешикских храмов, — факт, которым завоеватели гордились открыто, не видя в нём ничего, кроме законного трофея победителей. Похоронили его в соборном приходе, с отпеванием, подобающим ветерану завоевания, а в наследство детям достались энкомьенда, дом и единственная реликвия, которую он хранил всю жизнь отдельно от прочего имущества, — помятый стальной шлем, пробитый у виска в день штурма последнего мешикского квартала, в августе 1521 года, и, по семейному преданию, передававшийся затем из поколения в поколение как память о городе на воде, каким Эрнандо увидел его впервые и каким этот город больше никогда не был.

Ацтекский воин, защищающий столицу

Куаутли родился около 1498 года в квартале Тлателолько, на северной оконечности острова, где стоял Теночтитлан, — к тому времени Тлателолько, некогда самостоятельный город-соперник, уже два поколения как был присоединён к столице и сохранял за собой только славу крупнейшего в долине рынка, но не политическую самостоятельность. Отец его был масеуалли — простолюдином, одним из множества земледельцев, обрабатывавших чинампы: искусственные грядки-острова, выстроенные из ила, водорослей и свай на мелководье озера Тескоко, дававшие по нескольку урожаев кукурузы, фасоли, тыквы и цветов в год и кормившие огромный город лучше, чем любая обычная пашня во владениях испанского короля. Семья принадлежала к кальпулли — соседской общине, объединявшей несколько десятков родственных и соседских дворов, которая сообща владела землёй, платила дань правителю и выставляла воинов по общему списку, когда того требовала война.

Рождение Куаутли сопровождалось обрядами, обязательными для всякой мешикской семьи вне зависимости от достатка: повитуха, принимавшая роды, первым делом омывала новорождённого водой из особого сосуда, произнося над

ним слова, обращённые к богине Чальчиутликуэ, покровительнице вод и деторождения, а пуповину мальчика, в отличие от пуповины девочки, которую полагалось закапывать у домашнего очага, относили в поле или оставляли на будущем поле боя — знак того, что сыну суждено кормиться войной и землёй в равной мере. Затем, через несколько дней, жрец определял по священному календарю тональпохуалли день рождения, судьбу и имя ребёнка, сверяясь с толкованиями, которые передавались в его роду из поколения в поколение. Мальчику, рождённому под благоприятным знаком, нередко давали имя, связанное с войной или охотничьими птицами, — и Куаутли, что на науатле означает «орёл», получил его отчасти по этой причине, отчасти в честь деда, прославившегося в молодости захватом пленника в одной из пограничных стычек.

Детство его было устроено совсем не так, как у испанских сверстников по другую сторону океана. С трёх-четырёх лет мальчика приучали к труду через ежедневно растущую, строго расписанную норму: в книгах-кодексах, которые позже, уже после завоевания, запишут со слов стариков, детский рацион описан по возрастам — сперва половина лепёшки-тортильи в день, затем целая, — а с шести-семи лет ребёнок уже помогал носить тростник и хворост, учился грести на каноэ по бесчисленным каналам города и работать на чинампе отца: полоть, носить ил со дна для подсыпки гряд, отгонять водяных птиц от всходов. Наказания за леность были

суровыми по счёту любой эпохи — провинившегося ребёнка держали над дымом от тлеющего жгучего перца, заставляли спать на голой сырой циновке или кололи шипами агавы за дерзость старшим, — но соседствовали с искренней заботой: детей баловали на немногочисленных праздниках, кормили по старшинству горячим какао, доступным беднякам лишь по случаю, и внимательно обучали счёту дней по календарю, без знания которого невозможно было правильно рассчитать ни одну хозяйственную работу — ни сроки посева на чинампе, ни дни, в которые считалось благоприятным выходить в поход.

Помимо работы, детство Куаутли было устроено вокруг постоянного присутствия соседей: кальпулли был не просто административной единицей для сбора дани, а почти большой семьёй, где взрослые сообща следили за детьми всей улицы, а провинности одного мальчика обсуждались старейшинами квартала наравне с собственными. По вечерам, когда дневная работа на чинампах заканчивалась, старики кальпулли рассказывали детям предания о странствии предков-мешика от мифической северной прародины Астлан до основания города на острове, где, согласно знамению, орёл сидел на кактусе, сжимая в когтях змею, — и мальчику, названному в честь этой самой птицы, сказание казалось живой частью его собственного имени и судьбы, а не просто преданием из далёкого прошлого, вычитанным для развлечения. Родители следили и за внешней дисциплиной: маль-

чикам стригли волосы особым образом до тех пор, пока в телпочкалли они не захватят первого пленника, после чего причёску меняли на знак воинской зрелости, — так что ещё задолго до первого похода вся улица могла по одной лишь стрижке судить, насколько далеко подросток продвинулся на пути воина.

В двенадцать-тринадцать лет для мальчика из простой семьи наступал возраст телпочкалли — «дома молодёжи», куда определял его собственный кальпулли и где старшие воины-наставники учили подростков владеть мечом-макуауитлем с вставленными по краю лезвиями обсидиана, метать дротики атлатлем — метательной дощечкой, многократно увеличивавшей дальность и силу броска, — и держать строй в сомкнутом построении. Телпочкалли, в отличие от калмекака — школы для детей знати, готовившей жрецов и высших сановников, — не требовал грамоты и тонкостей религиозного календаря в том же объёме, зато ставил во главу угла физическую выносливость, дисциплину и беспрекословное старшинство: младший должен был носить снаряжение старших, прислуживать им на марше и молчать, пока не заслужит права голоса собственными заслугами. Первый боевой опыт Куаутли получил около шестнадцати лет в одной из пограничных «цветочных войн» — ритуализированных столкновений с соседними, формально не покорёнными городами-государствами вроде Тлашкалы, целью которых было не столько расширение владений, сколько добыча плен-

ников для жертвоприношений и проверка воинской доблести молодёжи. Захват даже одного пленника в такой стычке резко повышал статус юноши в глазах кальпулли и открывал дорогу к воинским званиям, недоступным простому ополченцу.

Наставники телпочкалли учили подростков не только владению оружием, но и выносливости в самом буквальном смысле: холодные обливания до рассвета, долгие переходы с полной выкладкой, посты без еды по нескольку дней в честь того или иного божества — Уицилопочтли, бога войны и покровителя самого Теночтитлана, Тлалока, повелевавшего дождём и урожаем, или Тецкатлипоки, чьё имя означало «дымящееся зеркало» и чей культ требовал от воина постоянной готовности к внезапной смерти. Подросток, уклонявшийся от этих испытаний, рисковал навсегда остаться на положении простого носильщика в любом будущем походе — а статус в мешикском обществе, помимо происхождения, определялся почти исключительно числом захваченных в бою пленников: воин с одним пленным получал право носить особый плащ, с четырьмя мог претендовать на звание текиуа — командира небольшого отряда, а немногие, захватившие по нескольку десятков, пополняли ряды орденов орла и ягуара, доступных уже не только знати, но и отличившимся простолюдинам.

К двадцати годам Куаутли уже считался тельпочтли — полноправным молодым воином, участвовавшим в несколь-

ких настоящих походах за пределы долины, в том числе в карательных экспедициях, собиравших дань с покорённых областей на побережье, откуда в Теночтитлан стекались какао, хлопок, перья редких птиц и шкуры ягуаров — то немногое, что сама долина озёр произвести не могла. Взрослая будничная жизнь воина-простолюдина вовсе не была непрерывной войной: большую часть года Куаутли, как и его отец, трудился на чинампе, рыбачил сетью и переметом на озере, где водилось множество рыбы, уток и даже съедобных водяных личинок и водорослей, собираемых в пищу; взрослый рацион состоял главным образом из кукурузных лепёшек, бобов, тыквы, помидоров, перца чили и амаранта, дополняемых по праздникам индейкой или собачьим мясом, а хмельной напиток октли из сока агавы позволялось пить без ограничения лишь старикам — для молодого мужчины публичное пьянство каралось сурово, вплоть до смерти за повторный проступок. Раз в несколько лет кальпулли призывало его в поход вместе с другими мужчинами призывного возраста, а в перерывах между войнами он несколько раз в год отбывал трудовую повинность — коатекитль — на общественных работах: ремонте дамб, расчистке каналов, переноске строительного камня для храмов в центре города.

В двадцать два года Куаутли женился на девушке по имени Шочитль из соседнего кальпулли — брак устроили родовые свахи, сговаривавшиеся между семьями задолго до того, как молодые успевали перекинуться словом, и свадебный

обряд был скреплён символическим связыванием краёв его накидки-тильмы и её расшитой юбки перед домашним очагом, в присутствии старейшин обеих семей. У супругов родилось к началу 1520-х трое детей — двое сыновей и дочь, — и Куаутли, как многие отцы его сословия, уже присматривался к старшему сыну, которому вскоре предстояло пойти в тот же телпочкалли, где когда-то учился он сам, и, если повезёт, превзойти отца числом захваченных пленников, а для дочери семья уже начинала присматривать жениха среди сыновей соседних дворов кальпулли.

Испанцы появились в его жизни, как и в жизни всякого мешика, не вторжением сразу, а слухами, приходившими с побережья ещё за несколько лет до того, как бородатые чужеземцы на огромных, невиданных судах вошли в долину через перевал. Когда в ноябре 1519 года отряд Эрнана Кортеса с союзниками-тлашкальтеками впервые вступил в Теночтитлан, Куаутли, как и большинство горожан, наблюдал торжественную встречу испанцев правителем Моктесумой с настороженным любопытством, не понимая, зачем правитель оказывает такие почести врагам собственных извечных противников-тлашкальтеков. Полгода спустя, когда в его отсутствие из города — большую часть этого времени кальпулли Куаутли отбывало трудовую повинность на дальних дамбах, — испанский гарнизон устроил резню мешикской знати во время праздника в главном храме, город взорвался яростью, которую Куаутли застал уже в разгаре: родственники погибших

в резне требовали крови, и даже самые осторожные из старейшин признавали, что терпеть чужеземцев в стенах города дольше нельзя.

Куаутли участвовал в осаде дворца, где испанцы удерживали Моктесуму, и в последующем изгнании отряда Кортеса в ночь, которую сами испанцы назовут Ночью печали: мешикские воины атаковали отступающую колонну с каноэ и с крыш домов вдоль дамбы, и для Куаутли, как и для многих его соратников, эта ночь стала редким случаем настоящего триумфа — враг бежал, бросая награбленное золото прямо в воду каналов. Но торжество длилось недолго. Уже через несколько недель после изгнания испанцев в город пришла болезнь, которой прежде никто в этих землях не знал, — ядовитая сыпь, покрывавшая тело волдырями, жар, от которого люди сгорали за считаные дни, и смерть, не разбиравшая ни возраста, ни воинской доблести. Оспа, занесённая, по всей видимости, одним из африканских невольников в составе подкрепления, высадившегося на побережье вслед за первой экспедицией, выкашивала квартал за кварталом быстрее, чем любое оружие: тела лежали непогребёнными прямо во дворах, потому что хоронить умерших было уже некому, а запах гари от погребальных костров, которые ещё удавалось сложить, не выветривался из города неделями. Умер от этой же болезни и новый правитель Куитлауак, не процарствовавший и трёх месяцев. Куаутли похоронил в эти недели мать, младшую сестру и двоих из троих

собственных детей — обычная, не выделявшаяся на общем фоне трагедия тех месяцев, когда, по позднейшим оценкам, город лишился от трети до половины населения ещё до того, как испанцы вернулись к его стенам.

Именно в таком городе — обескровленном эпидемией, потерявшем значительную часть опытных воинов и управляемом новым, совсем молодым правителем Куаутемоком — Куаутли встретил вернувшееся весной 1521 года испанское войско с десятками тысяч союзников из Тлашкалы, Тескоко и других недовольных мешикской властью городов. Три месяца осады стали для него временем, не похожим ни на одну прежнюю войну: привычные «цветочные войны» с их регламентом и установленными правилами захвата пленников сменились войной на полное уничтожение, в которой осаждающие день за днём срывали дамбы, засыпали каналы и теснили защитников к центру острова, а испанские бригантины на озере пресекли подвоз рыбы, пресной воды с материковых источников и съестных припасов с окрестных чинамп. Куаутли сражался в рядах ополчения своего кальпулли, оборонявшего один из северных кварталов неподалёку от родного Тлателолько, который в последние недели осады стал последним прибежищем защитников, оттеснённых сюда со всего острова. Есть приходилось кору деревьев, озёрные водоросли и солёную траву, пить — загрязнённую воду обмелевших каналов; голод и жажда убивали защитников едва ли не быстрее, чем аркебузы и клинки осаждающих, но

сдаваться город отказывался упорно, зная, какая участь по обычаям той же самой войны ждёт обращённых в рабство пленников.

Испанские бригантины, курсировавшие по озеру, не только перекрывали подвоз припасов, но и методично расстреливали из бортовых пушек любые скопления каноэ, пытавшихся прорваться к осаждённому острову с материка, так что даже отчаянные ночные вылазки за пресной водой на дальние источники стоили защитникам всё больше жизней при всё меньшей отдаче. Куаутли участвовал в нескольких таких вылазках ещё в начале осады, пока вода в черте города не иссякла окончательно, а затем, как и большинство боеспособных мужчин квартала, был переведён на сухопутную оборону дамб и разрывов, которые испанские сапёры и союзные индейцы каждую ночь заново пытались засыпать обломками разрушенных домов. Бой за каждый такой разрыв превращался в бойню на узком пространстве в несколько шагов шириной, где численное превосходство осаждающих не всегда решало исход: мешикские воины, зная местность до последнего канала, умели заманивать наступающих на ложные, не до конца засыпанные переходы, под которыми тех ждала глубокая вода и свои же, укрывшиеся в засаде на каноэ.

Тринадцатого августа 1521 года, когда правитель Куаутемок был схвачен при попытке уйти по озеру на каноэ и сопротивление в городе официально прекратилось, Куаутли был среди последних защитников, оборонявших рыночную

площадь Тлателолько, — тот самый эпизод, который стал кульминацией всей его жизни и который он, проживи достаточно долго, чтобы о нём рассказать, называл бы защитой родного квартала: для него и для его соратников в те последние дни речь шла прежде всего о собственной земле, о кальпулли и о телах близких, которые ещё предстояло похоронить, если город уцелеет, а вовсе не об абстрактной судьбе всей империи. Он был ранен в предплечье обсидиановым наконечником, выпущенным, по иронии, тлашкальским союзным лучником, сражавшимся на стороне испанцев, и захвачен в плен в последний день организованного сопротивления, когда защитники, обессиленные голодом, уже не могли держать оружие достаточно долго, чтобы отбить натиск.

Участь пленных мешикских воинов после падения города была различной: часть знатных пленников испанцы использовали как заложников и посредников для управления покорённым населением, часть простых воинов обратили в принудительный труд на восстановлении города и на рудниках, которые испанцы спешно начали разведывать в первые же годы колонии, а некоторых, по требованию союзных тлашкальтеков, всё же отдали на расправу прежним врагам в счёт долгих счётов, копившихся десятилетиями цветочных войн, — хотя сами испанцы такие расправы формально не одобряли, видя в пленных не меньшую ценность рабочих рук, чем в разрушенном городе источник золота. Куаутли, как простолюдин без знатного происхождения, избежал казни, ко-

торой подвергли некоторых мешикских военачальников, заподозренных в сокрытии золота, но попал в число мужчин его квартала, определённых на принудительные работы по расчистке и перестройке разрушенного города: испанцы использовали камень снесённых храмов для строительства соборов и домов новой колонии прямо на том же острове, и обломки Великого храма, перед которым Куаутли мальчиком носил хворост для ритуальных костров, легли в основание испанских построек в считаные годы после осады.

Шочитль пережила эпидемию и осаду вместе с единственным уцелевшим из троих детей сыном и вместе с ним была приписана после завоевания к тому же кварталу, уже обязанному платить дань не мешикскому правителю, а испанской короне и энкомендеро, в чьё владение после раздела земель и подданных перешёл весь прежний Тлателолько. Сам Куаутли не дожил до старости. Годы принудительного труда на разборке и переноске каменных блоков разрушенных храмов подорвали его здоровье быстрее, чем любой прежний поход: испанские надсмотрщики требовали норму выработки, не считаясь ни с голодом, не отступавшим от города ещё долго после осады, ни с увечьями, полученными защитниками в последние недели сопротивления. Истощённый годами такого труда и повторными вспышками занесённых испанцами болезней — вслед за оспой долину накрыли корь, тиф и неизвестная самим испанцам лихорадка коколицтли, косившая людей быстрее и загадочнее прежних поветрий, — он

умер около 1545 года, немногим старше сорока пяти лет, в разгар одной из самых опустошительных эпидемий колониального периода, унёсшей, по позднейшим подсчётам историков, бóльшую часть оставшегося коренного населения долины. Прежде мешика хоронили воинов, погибших не на поле боя, а дома, через кремацию — тело сжигали вместе с личными вещами и изображением того бога, которому покойный служил особо усердно, а пепел хранили в доме как часть семьи; Куаутли же хоронили без этих обрядов, упрощённо, по новому христианскому обряду, в землю, в чужом по форме, но уже обязательном для всех ритуале, в который его сын, крещённый францисканским монахом под именем Педро, был к тому времени обращён силой обстоятельств и настойчивой миссионерской проповеди. Это последнее несовпадение — между тем, как Куаутли, вероятно, хотел бы проводить сам себя в мир иной, и тем, как его в итоге похоронили, — стало, быть может, самым красноречивым свидетельством того, насколько полно рухнул за одно поколение мир, в котором он родился орлом по имени и по судьбе, предсказанной жрецом над новорождённым младенцем.

Янычар Османской империи

Марко — имя, которое он позже забудет произносить вслух, но не забудет никогда, — родился в 1533 году в маленькой деревне в горах Родопы, на землях, которые полтора века как платили дань султану, но ещё хранили православную веру, болгарский язык и память о временах до турецкого завоевания. Отец его был свободным крестьянином-райя, обрабатывавшим клочок земли, числившийся за местным тимариотом — турецким всадником, получившим эту землю как военный надел в обмен на службу; семья платила харадж — подушную подать с немусульман — и ещё с десяток мелких податей зерном, мёдом и трудом, но в остальном жила по собственным, веками устоявшимся обычаям, под рукой своего священника и деревенского старосты.

Детство Марко было бедным, но не голодным: горная деревня кормилась ячменём, кукурузой, которую в этих краях уже начинали сеять вслед за новым заморским злаком, молоком и сыром от немногочисленных овец, которых семья пасла в общих горных пастбищах. С шести-семи лет он уже пас скотину вместе со старшими братьями, собирал хворост и учился у матери основам веры — крестился, знал наизусть несколько молитв, слушал на службах то немногое, что понимал из церковнославянского. Грамоте в деревне не учили почти никого — ни кириллице, ни тем более турецкой вязи,

— и если бы не случай, который перевернул всю его судьбу в десятилетнем возрасте, Марко прожил бы жизнь такого же крестьянина, как и его отец.

В 1543 году, когда Марко было десять лет, в деревню приехали чиновники султанского набора — девширме, «налога кровью», которым Османская империя раз в несколько лет собирала со своих балканских христианских подданных мальчиков в возрасте от восьми до пятнадцати лет для службы короне. Отбор шёл по строгим, хотя и прихотливым правилам: предпочтение отдавали крепким, смышлёным на вид мальчикам из семей, где было несколько сыновей, единственных детей не забирали вовсе, а городских ремесленных подростков обычно пропускали, считая их уже испорченными слишком вольной жизнью города. Старосте выдавался список, священнику вменялось в обязанность не укрывать детей и не жениться на них преждевременно, чтобы избежать набора, — отчаявшиеся родители по всему Балканскому полуострову и правда порой спешно сватали малолетних сыновей, лишь бы формально вывести их из-под действия указа, но на Марко, второго сына в семье из четверых детей, эта уловка не распространялась: он был отобран вместе с ещё четырьмя мальчиками из деревни и несколькими десятками — со всей округи.

Отец Марко, по рассказам, которые сам Марко много позже, уже глубоким стариком, пересказывал собственным домочадцам в Стамбуле, пытался в последний момент спрятать

сына в пастушьей хижине на дальнем пастбище, но староста деревни, отвечавший головой перед турецким чиновником за полноту списка, сам же и выдал убежище, опасаясь кары на всю общину за недобор. Расставание с семьёй, по описаниям переживших девширме современников, было для родителей и детей одним из самых тяжёлых потрясений в жизни общины — матери выли и рвали на себе волосы, провожая сыновей в обоз, который турецкий чиновник вёл в сторону Стамбула, — и всё же сам набор не был тем же самым, что обращение в рабство: отобранных мальчиков кормили в пути, не били без нужды, а сама служба, которая их ждала, открывала путь наверх, недоступный большинству подданных империи вне зависимости от веры. Марко этого, разумеется, не понимал в десять лет, когда плёлся в колонне таких же растерянных мальчишек через незнакомые перевалы в сторону столицы, которую прежде представлял себе разве что по смутным рассказам странствующих торговцев.

Путь до столицы занял больше месяца: обоз с мальчиками из разных деревень Родопов и соседних областей шёл пешком через горные перевалы, останавливаясь на ночлег в попутных городках, где местные чиновники вели учёт прибывших и выбраковывали тех немногих, кто по дороге заболел или оказался слабее, чем показалось при первом осмотре. Марко запомнил эту дорогу урывками: страх перед незнакомыми людьми в тюрбанах, которые вели обоз, тоску по матери, прорывавшуюся слезами по вечерам, когда уста-

лость брала верх над напускной мальчишеской храбростью, и постепенно нарастающее любопытство, свойственное десятилетнему ребёнку, — любопытство к городам, каких он прежде не видел, к морю, которое открылось перед ним впервые при подходе к Мраморному побережью, и к самому Стамбулу, обрушившемуся на мальчика многолюдьем, запахами пряностей и видом минаретов, каких не было ни в одной балканской деревне.

В Стамбуле новоприбывших мальчиков прежде всего обращали в ислам — обряд обрезания и произнесение формулы веры совершались почти сразу по прибытии, без долгих объяснений ребёнку, что именно с ним происходит, — и распределяли по турецким крестьянским семьям Анатолии на несколько лет, чтобы мальчики выучили турецкий язык, привыкли к мусульманским обычаям и окрепли физически на простой деревенской работе. Марко, нареченный при обращении именем Мехмед, провёл три года в семье анатолийского земледельца неподалёку от Бурсы, где его, как и прежде в родной деревне, ставили пасти скот и работать в поле, но уже на чужом языке и под новым именем, которое он поначалу путал, забывая откликаться. К четырнадцати годам его вместе с другими подросшими мальчиками вернули в столицу и определили в ачемы-оглан — школу для кадетов корпуса янычар, где начиналось собственно военное обучение.

Обучение в ачеми-оглан было суровым и долгим: несколь-

ко лет подростков учили владеть луком, саблей и кинжалом, позже — аркебузой, которую к середине XVI века корпус янычар осваивал одним из первых в мусульманском мире регулярных армий, задолго до того, как огнестрельное оружие стало обычным делом для большинства европейских пехотинцев. Учили ходить строем и держать плотный фронтальный порядок, учили разбирать и чистить оружие в темноте на ощупь, учили читать по-арабски хотя бы основные молитвы — полной грамоте, впрочем, обучали лишь немногих, отобранных для дворцовой или канцелярской службы, а большинство кадетов довольствовалось минимумом, достаточным для воинской жизни. Отдельным, едва ли не важнейшим предметом обучения было беспрекословное подчинение командирам-офицерам, которых называли чорбаджи — «раздатчик супа», по символическому котлу, вокруг которого строилась вся иерархия и сама идентичность полка: потеря или переворачивание полкового котла в бою считалась величайшим позором, какой только мог пасть на целую орту, а отказ воинов есть из котла в знак протеста — так называемый бунт котла — был одной из немногих форм, в которой янычары могли открыто выразить недовольство жалованьем или решением самого султана, не поднимая прямого оружия против короны. Мальчиков, помимо воинской науки, приучали и к тому, что отныне у них нет иной семьи, кроме казармы и полка: редкие весточки с родины, доходившие через случайных торговцев, Мехмед получал считаные

разы за все годы обучения, а вскоре перестал получать вовсе — писем в деревне писать не умели, а доходить за сотни вёрст оказии предпочитали нечасто. К двадцати годам, в 1553-м, Мехмед, пройдя это многолетнее обучение, был зачислен рядовым в одну из орт — рот янычарского корпуса, расквартированных в Стамбуле и получавших постоянное, по тем временам немалое, жалованье от казны — редкость для профессионального воина XVI века, которому в большинстве других стран Европы платили лишь на время похода.

Взрослая жизнь янычара была устроена вокруг казармы, похода и строгого распорядка: мирное время заполнялось учениями, караульной службой у ворот дворца Топкапы и в городских кварталах, где янычары нередко исполняли функции полиции и пожарных одновременно, а поход — многомесячными, иногда многолетними кампаниями на восточных и западных границах расползшейся по трём континентам империи. Рацион янычара в походе состоял из риса, баранины, когда её удавалось раздобыть, лепёшек и похлёбки, которую варили в том самом полковом котле; в столице жалованье позволяло питаться разнообразнее, и многие ветераны корпуса начинали приторговывать на стамбульских рынках в свободное от службы время — практика, формально не поощрявшаяся, но к середине века ставшая почти повсеместной. Жениться рядовым янычарам в те годы запрещалось вовсе: корпус задумывался как закрытое воинское брат-

ство, полностью зависящее от султана, не обременённое ни землёй, ни семьёй, ни иной верностью, кроме верности знамени и котлу, — и Мехмед, как и подавляющее большинство его сослуживцев в расцвете службы, жил холостяком в казарме, деля быт с десятками товарищей той же орты, которые заменяли ему и семью, и землячество одновременно.

Зачисление в орту сопровождалось собственным скромным обрядом: новичку вручали форменный кафтан и оружие, а старшие сослуживцы в шутку проверяли выдержку новобранца, заставляя его первым пробовать самую невкусную часть похлёбки из общего котла, — обычай, который Мехмед много лет спустя повторит уже сам, принимая в орту следующее поколение таких же бывших девширме-мальчиков. Первые годы службы прошли для Мехмеда в относительно спокойном гарнизонном режиме: караулы у дворцовых ворот, патрулирование торговых кварталов города, где янычарам доверяли надзор за порядком на рынках и тушение частых в деревянном Стамбуле пожаров, учения на плацу и редкие выходы на подавление мелких беспорядков в провинции. Он быстро выучился ценить то, чего был лишён в раннем детстве, — регулярное жалованье, выдаваемое четыре раза в год серебряной монетой, и столь же регулярную выдачу форменного кафтана и войлочного головного убора бёрк, украшенного, в зависимости от заслуг, перьями или металлическими бляхами. Среди сослуживцев он сблизился особенно с двумя такими же бывшими девширме-мальчика-

ми — один родом из Боснии, другой из Албании, — и втроём они на долгие годы стали друг для друга тем подобием семьи, какого ни один из них не мог обрести в казарме иначе.

В последующие годы Мехмед участвовал в нескольких кампаниях султана Сулеймана Кануни — «Законодателя», как называли его подданные, — против персидских Сефевидов на восточных границах, а затем в кампаниях против австрийских Габсбургов в Центральной Европе. Персидские кампании запомнились Мехмеду прежде всего тяготами перехода — многомесячными маршами через горы Восточной Анатолии и Азербайджана, где армия теряла от холода, голода и болезней подчас больше людей, чем в самих сражениях, а противник, избегая решительных битв, изматывал турецкое войско внезапными набегами конницы и выжженной землёй на пути следования. Кампании против Габсбургов в Венгрии, напротив, были войной за крепости: месяцами тянулись осады дунайских городов, где решающую роль играли не столько полевые сражения, сколько сапёрное искусство, количество пороха и упорство гарнизонов, зачастую многократно уступавших осаждающим числом, но державшихся за счёт толстых стен и отчаяния обороняющихся, которым отступать было некуда. Кульминацией его службы стала осада венгерской крепости Сигетвар летом 1566 года — последний поход престарелого султана, которому к тому времени было уже за семьдесят. Крепость, обороняемая хорватским магнатом Миклошем Зриньи с небольшим, но упорным гар-

низоном, продержалась дольше, чем кто-либо из турецкого командования рассчитывал, — почти пять недель непрерывных подкопов, обстрелов и штурмов, в которых янычарские орты, включая орту Мехмеда, несли во время приступов особенно тяжёлые потери, штурмуя разрушенные пушками укрепления под огнём последних защитников. В ночь на шестое сентября 1566 года, незадолго до последнего, решающего штурма, султан Сулейман скончался в своём шатре от старости и болезни, так и не дожив до взятия крепости.

Смерть султана в разгар осады могла обернуться для всей армии катастрофой — известие о гибели повелителя посреди вражеской земли грозило паникой, развалом дисциплины и возможным истреблением войска при отступлении, — и великий визирь Соколлу Мехмед-паша принял решение скрыть кончину Сулеймана от рядового состава армии, включая самого Мехмеда и его товарищей по орте. Тело султана было тайно забальзамировано и несколько недель возилось в закрытых носилках как будто живого повелителя, а приказы от его имени продолжали отдаваться визирем, пока наследник престола Селим не успел прибыть из Анатолии и упрочить своё положение в столице. Мехмед узнал правду об этой смерти и об обмане, в котором невольно участвовал несколько недель подряд, лишь позже, уже после возвращения армии из похода, — и этот эпизод, тайна, которую вся огромная армия носила на себе, точно простуженный груз, сам того не ведая, остался для него самым памятным собы-

тием долгой военной службы: взятие Сигетвара обошлось слишком дорого — крепость в конце концов пала восьмого сентября, через два дня после смерти султана, когда сам Зриньи погиб в последней отчаянной вылазке, — но именно скрытая смерть повелителя, а не сама победа, превратилась для Мехмеда в историю, которую он десятилетиями рассказывал молодым сослуживцам шёпотом, оглядываясь на дверь казармы.

Сама крепость Сигетвар состояла из трёх последовательных колец укреплений — внешнего города, внутреннего города и собственно цитадели на искусственном острове посреди болот, — и каждое кольцо приходилось брать отдельным, кровопролитным штурмом. Мехмед участвовал во взятии внешнего города ещё в первые недели осады, где янычарские орты шли на приступ вброд по пояс в воде под огнём защитников, а затем — уже в составе поредевшей орты — в финальном штурме цитадели, когда гарнизон Зриньи, видя безнадёжность дальнейшей обороны, предпочёл не сдаваться, а выйти из последних ворот в отчаянную вылазку навстречу верной смерти, нежели принять плен. Турецкие потери под Сигетваром, по позднейшим оценкам, исчислялись многими тысячами — едва ли не больше, чем у защитников, — и среди погибших оказался один из двух его ближайших друзей ещё по школе ачеми-оглан, боснийский найдёныш по прозвищу Хасан Боснали, павший во время одного из июльских приступов; второй друг, албанец, был ранен и

после кампании получил инвалидное содержание, но службы больше не нёс. Мехмед же, хотя и получил лёгкое ранение в ногу обломком камня от разорвавшегося неподалёку снаряда, остался в строю до самого конца похода.

После Сигетвара Мехмед прослужил в корпусе ещё почти два десятилетия, дослужившись к пятидесяти годам до чина одного из младших офицеров орты и накопив достаточно жалованья и трофейной добычи, чтобы к моменту выхода в отставку обеспечить себе безбедную старость — право, которым пользовались ветераны корпуса, уходившие на покой с небольшой пенсией и часто открывавшие собственное ремесленное дело или лавку в Стамбуле. К этому времени порядки корпуса смягчились: отслужившим и пожилым янычарам, в отличие от времён его молодости, уже дозволялось жениться, торговать и вести отдельное хозяйство вне казармы — уступка, на которую командование корпуса шло неохотно, но вынужденно, по мере того как ряды янычар год от года пополнялись не только девширме-мальчиками, но и сыновьями самих ветеранов, добивавшихся для детей права наследовать отцовское место в полку. Мехмед, выйдя в отставку около 1583 года в возрасте пятидесяти лет, женился на вдове стамбульского ремесленника по имени Айше, взяв на себя заботу о её детях от первого брака — собственных детей у него, прожившего всю расцветшую молодость и зрелость холостяком в казарме, так и не было.

Старость Мехмед провёл в Стамбуле, открыв на скромные

сбережения небольшую лавку в квартале неподалёку от казарм старого полка, торговавшую упряжью и кожаными изделиями, — ремесло, нехитро освоенное за годы соседства с полковыми шорниками, чинившими сёдла и ремни для всего гарнизона. Торговля шла не бог весть как бойко, но исправно, тем более что бывшие сослуживцы охотно заходили к старому товарищу за товаром и за разговором, а молодые рекруты порой забредали в лавку послушать рассказы ветерана о персидских перевалах и венгерских болотах. Айше родила ему на старости лет единственную общую дочь, пережившую, к немалой радости отставного янычара, и младенчество, и детские хвори, косившие стамбульских детей ничуть не реже, чем сельских; девочку выдали замуж за подмастерье из соседней мастерской, когда Мехмеду было уже под шестьдесят, и он успел понянчить единственную внучку, прежде чем здоровье начало сдавать всерьёз. Он умер в 1601 году, в возрасте шестидесяти восьми лет, от болезни лёгких, типичной для стариков его поколения, не раз зимовавших в сырых окопах и шатрах европейских кампаний, — и был похоронен, как и полагалось ветерану корпуса, на кладбище янычарского братства, с простым каменным надгробием, на котором резчик высек его военный чин и годы службы, но не прежнее имя. К старости Мехмед всё реже вспоминал о родной деревне вслух — не из стыда и не из обиды на судьбу, которая вырвала его из семьи десятилетним мальчиком, а потому что сама жизнь его давно перестроилась вокруг дру-

гого языка, другой веры и другого котла, из которого он ел большую часть отпущенных ему лет, — и умер он под именем Мехмед, которое давно уже стало для него роднее, чем забытое детское имя Марко, которым его когда-то, на другом языке и в другой вере, называли в горной деревне Родопских гор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.